

## Н. В. ТОЛСТАЯ-КРАНДИЕВСКАЯ



аписанное мною ни в какой мере не претендует быть хроникой жизни. Слишком мало для этого последовательности и повествовательной связи между отдельными главами моих записок. Многие

пролетело во времени, не оставив следа. Многие пропущено не случайно, ибо нет еще в руке спокойствия, столь необходимого летописцу.

Не случайно мало касаюсь я в своих записках основных творческих этапов долголетнего спутника моей жизни, писателя А. Н. Толстого (в частности, его работы над романами «Хождение по мукам» и «Петр Первый»). Об этом немало уже писали и будут еще писать люди более компетентные, чем я,— историки, биографы, литературо-

веды. Мне же, очевидцу трудов и дней былых, приходится быть на поводу только у своей памяти.

Вечерняя отрада — вспоминать,  
Кому она, скажите, не знакома?  
На склоне лет присесть у водоема,  
Смущая вод задумчивую гладь,  
Не жизнь, а призрак жизни невесомый,  
Не дом, а только тень бывшего дома  
Из памяти послушной вызывать...

## ДНИ И ГОДЫ

### 1915 ГОД

В январе 1915 года мы жили еще на разных квартирах. Толстой — на Кривоарбатском переулке, я на Хлебном, у своих родителей.

В начале февраля Толстой выехал на турецкий фронт: корреспондентом от «Русских ведомостей». Вернулся он в Москву 17 февраля. За это время я подготовила для нас квартиру на Малой Молчановке, дом восемь, где я встретила Толстого по приезде его с Кавказа.

С этого дня началась наша совместная жизнь, продолжавшаяся до 1935 года, то есть немногим более двадцати лет.

Вернувшись с турецкого фронта, Толстой снова принялся за роман «Егор Абозов». Этот роман он начал писать еще в январе, на Кривоарбатском переулке. Там он диктовал мне первые главы («Кулик» и другие). Выехав на турецкий фронт, он писал о романе с дороги: «Я понял, что должно быть в нашем романе. Нужно, чтобы у Егора Ивановича, знающего, как медик, человека со всех сторон, возникла идея о новом изучении психики (души) при помощи физических приборов и логики (такой прибор нужно придумать). Егор Иванович повсюду натывается на иррациональность и считает ее лишь несовершенством нашего сознания. На приборе своем он срывается и сам он попадает в ловушку (Ольга). Срыв же Егора Ивановича состоит в том, что при помощи своего прибора он математически определяет, что ему

нужно Варвару Н. убить. Такова задача первых глав — Петербург со всем кошмаром».

Роман этот так и не был закончен. Причину этого Толстой позднее объяснял тем, что тема романа была мертворожденная, надуманная. Вот что он писал мне из Петрограда в декабре 1915 года, когда оставил уже работу над романом: «Сандро»<sup>1</sup> рассказал мне сегодня удивительную вещь — легенду о Христофоре. Хотя легенда средневековая, но точно создана для России, для наших дней. Это грандиозный план для романа — то, чего не хватает, например, у «Егора Абозова». Пока он рассказывал, я представил ясно весь роман».

Первую половину лета 1915 года мы с Толстым проводили у родителей моих, под Москвой, в деревне Иваново, где главной приманкой были грибные прогулки и теннис.

Но дождливая погода вскоре погнала нас на юг, в Коктебель, на дачу к поэту Максимилиану Волошину. С нами был мой шестилетний сын Федор с няней.

В Коктебеле Толстой работал еще над романом «Егор Абозов», пока воображением его не завладела всецело новая пьеса «Нечистая сила». Он писал ее с увлечением и закончил вскоре после возвращения в Москву.

Пьеса «Нечистая сила» была принята в Москве Драматическим театром (антреприза Суходольской). Начались репетиции. Толстой усердно их посещал. Ставил пьесу режиссер И. Ф. Шмидт (муж актрисы Полевицкой). Еще до премьеры, в декабре, Толстой ездил на несколько дней в Петроград проводить «Нечистую силу» через цензуру и устраивать ее в Александринский театр. Из Петрограда он писал: «Лаврентьев (главный режиссер) от «Нечистой силы» в восторге. Дал ее читать Теляковскому. Я слышал, что Дризен<sup>2</sup> хвалит ее повсюду. Думается, что пойдет в Александринском театре, за это 85% вероятия».

Новый год мы встретили у себя на Молчановке в компании актеров: Радина, Певцова, Полевицкой, Шмидта и Борисова с гитарой.

---

<sup>1</sup> Профессор Яценко.

<sup>2</sup> Цензор.

В январе в Москве состоялась наконец премьера «Нечистой силы». Пьеса имела успех, делала аншлаги и прочно вошла в репертуар театра. Главные роли исполняли: Борисов, Полевицкая, Радин, Певцов и другие.

2 февраля 1916 года Толстой был экстренно вызван в Петроград, чтобы оттуда с группой журналистов (Вас. Немирович-Данченко, Набоков, Башмаков, Егоров и Чуковский) ехать в Англию, по приглашению английского правительства. Путешествие было небезопасное, по военному времени, а разлука — неожиданна, и оба мы были не подготовлены к ней. Толстой собирался наспех. Перед отъездом он взял с меня слово, что по выздоровлении (у меня был грипп) я немедленно выеду в Петроград и, выхлопотав заграничный паспорт, последую за ним в Англию, в сопровождении курьера из английского посольства, о котором он позаботился заранее.

Маршрут поездки был таков: Белоостров, Торнео, от Торнео до шведской границы одна верста на санках, затем поездом через Стокгольм в Христианию. Из Христиании морем до Ньюкастля. Оттуда поездом в Лондон.

В письме из Ньюкастля от 20 февраля Толстой писал: «Пишу тебе в маленькой комнате с наглухо закрытыми ставнями. Горит камин, и свистят поезда. Часа четыре назад мы приехали, наконец, в Ньюкастль, по дороге набрались страху, так как немцы нас разыскивали, но капитан изменил курс. Завтра в четыре будем в Лондоне, и завтра же начнутся банкеты и осмотры, а через неделю поедem на фронт. Нам обещают показать немцев шагах в пятидесяти. Затем повезут осматривать флот. Ньюкастль произвел на меня очень сильное впечатление — это город верфей, кораблей и каменного угля. Везде видны гигантские краны, мосты, мачты, проносятся поезда. Вечером нет ни фонарей, ни света из окон. Множество народу бродит в темноте по улицам».

В письме из Лондона от 8 марта (нового стиля) он пишет: «Встаем в 7¼—8 часов утра и уезжаем на заводы, на верфи, в армию. Напечатаны ли мои две статейки? В субботу посылаю третью. И по приезде придется писать очень много. По некоторым номерам русских газет, до-

шедших сюда, видно, что в России не понимают значения нашей поездки».

Выдержка из письма от 11 марта (нового стиля): «Мы третий день сидим в главной квартире, в парке, в шато с египетской французской обстановочкой. Во всем замке нас пять человек. Внизу, где столовая и гостиная, топят два камина, а наверху, в спальнях каминов нет, огромные постели под балдахинами, и лезешь, как в снег, в простыни. Вчера были на позициях, в обстреливаемом и совсем разрушенном городке. Сегодня ездили в Кале, завтра отправляемся вдвоем с Набоковым в траншеи, вплоть к самым немцам».

В письме от 12 марта (нового стиля): «Вернулись с позиций. Мы были в двадцати пяти саженях от немцев, и едва Набокова и меня не убили. Бросали гранаты, и две из них разорвались в нескольких шагах, так что обдало землей и дымом. Пришлось около часу идти по траншеям, под обстрелом».

В письме от 16 марта (нового стиля): «Сегодня вернулись в Лондон через Ламанш. Пароход наш конвоировали миноносцы и воздушные корабли, потому что теперь чуть ли не каждый день немцы минами взрывают корабли. При выезде из гавани всем обязательно велят надеть пробковые пояса».

18 марта Толстой вернулся в Россию. Я ездила встречать его в Петроград. Оттуда вместе возвращались на Молчановку. Впечатления о поездке в Англию печатались в «Русских ведомостях», а позднее были изданы отдельной книгой.

Во время пребывания Толстого в Англии у меня на Молчановке поселилась его тетка, Марья Леонтьевна Тургенева, родная сестра матери. Немного позже семья наша пополнилась еще одним маленьким человеком — пятилетней дочерью Толстого от Софьи Исааковны Дымшиц — Марьяной.

Тетя Маша была живым источником семейных преданий и хроники. Из этого источника Толстой не раз уже черпал для своего творчества («Заволжье», «Неделя в Турене», «Хромой барин», «Две жизни»).

Но по старости лет и по всегдашней склонности все

перепутать семейная хроника у тети Маши не всегда была точной, порой не в ладу с датами и нуждалась в проверке. Для проверки существовала другая тетка, Татаринova (тетя Оля), точная и памятливая, как живой календарь. Она была дочерью Анны Борисовны Татариновой, урожденной Тургеневой, родной сестры деда Алексея Николаевича Толстого — Леонтия Борисовича Тургенева.

Пребывание тети Маши у нас в доме весной и летом 1916 года, несомненно, способствовало написанию пьесы «Касатка», сюжет которой заимствован из бурной жизни любимого племянника тети Маши, Леонтия Комарова. Еще ранее тот же сюжет использован был Толстым в повести «Неделя в Туренева».

Точную дату написания «Касатки» я не помню. Знаю только, что «Касатка» написана была одним духом, скоропалительно, недели в две, и что написана она вскоре после пьесы «Ракета», а не до нее, ибо впоследствии Толстой часто говорил, что неудачная «Ракета» была для него разбегом для написания «Касатки».

«Ни одну пьесу я не писал так легко и весело, как «Касатку».

Летом в 1916 году мы жили на Оке, возле Тарусы, в имении Свешниковых Антоновке. На противоположном берегу жил на даче поэт Бальмонт со своей семьей. С нами были сводные наши дети Федор и Марьяна, тетя Маша и только что нанятая к детям бонна — эстонка, Юлия Ивановна Уйбо, она же Юленька, которой суждено было прожить в нашей семье более двадцати пяти лет.

В имении работали пленные австрийцы, среди них был один чех, интеллигентный человек, скрипач по профессии. Толстой угощал пленных табаком, а по вечерам нередко беседовал с ними, сидя на завалинке. Все это вместе с антоновским пейзажем нашло свое отображение в рассказе «В июле», переименованном позднее «В усадьбе».

Мы снимали флигель в парке, за клубничными грядками, и, в стороне от флигелька, маленькую сторожку, где Толстой работал. Это была бревенчатая прохладная избушка в два окна; сосновый стол, на нем пишущая машинка и букет васильков, рядом скамья, плетеное кресло — вот и вся обстановка. За окном — густая чаща парка. Тишина. Только шелест могучих лип да медовый их запах залетал порой с ветром в этот маленький лесной

кабинет. Толстой его любил и говорил, что ему здесь работает лучше, чем в городе. Детей к сторожке не подпускали, чтобы не мешали, мне же разрешалось сидеть рядом в плетеном кресле, читать или шить. По вечерам в сторожке, когда на столе зажигали лампу и над абажуром кружились почные бабочки, вылезал откуда-то сверчок, похожий на маленький сухой сучочек. Он садился всегда на одно и то же место, около чернильницы, и помалкивал. Когда же в стуке машинки наступали долгие паузы и Толстой в тишине обдумывал еще не написанное, сверчок осмеливался напомнить ему о своем присутствии. Возьмет вдруг и стрекотнет, и опять замолчит надолго.

— Это он тебя стесняется,— говорил Толстой,— а ко мне он уже привык. Мы — друзья.

Что же писал Толстой в этой обстановке? Помнится, он заканчивал повесть «Искры», начал рассказ «В июле». Не то дорабатывал, не то переделывал «Ракету». Листы этой не любимой мною пьесы я хорошо помню на сосновом столе. И совсем не помню следов «Касатки». Думаю, что Толстой начал ее писать уже в городе, куда вернулся раньше нас, испугавшись дождей. Я с детьми приехала в Москву на две недели позже, привезя в спичечной коробке верного друга — сверчка. Но такого насилия над собой он не вынес — на другой же день рассыпался сухой пылью.

Много лет спустя на немецком курорте Миздрой, устраивая для Толстого рабочий уголок на балконе (он писал тогда «Аэлиту»), я спросила — удобно ли ему и чего не хватает?

— Хорошо-то хорошо,— сказал он,— только знаешь чего не хватает?

— Чего?

— Сверчка. Помнишь, в Антоновке?

— Где же взять его? — сказала я. И обоим нам стало грустно — потому ли, что далека была Россия, потому ли, что далека была молодость, потому ли, что ни того, ни другого ничем заменить нельзя?

Репетиции «Касатки» осенью 1916 года отнимали у Толстого много времени. В пьесе дебютировала приглашенная из провинции талантливая и красивая актриса

Татьяна Павлова. Кроме нее в спектакле участвовали: Радин, Борисов, Блюменталь-Тамарина, Нароков и молоденькая Белевцева.

Как-то раз Толстой предупредил тетю Машу, что к обеду привезет актрису Блюменталь-Тамарину, которая репетирует в «Касатке» роль тетушки. Она хочет познакомиться с тетей Машей, чтобы успешнее и вернее «войти в образ». Это выражение — «войти в образ» — очень перепугало тетю Машу. Она засуетилась, вытащила из сундука какую-то допотопную наколку из «шантильи» и к обеду, по выражению Толстого, окончательно впала в фальшивое состояние. Чтобы выйти из него, надо было подпоить обеих старушек. Этим и занялся Толстой, подливая им в рюмки коллекционную мадеру. Старушки сначала раскраснелись, потом разговорились, потом расцеловались, потом прослезились и в конце концов подружились надолго. Вероятно, Блюменталь-Тамарина тогда же и «вошла в образ», и так хорошо, что роль тетушки стала одной из лучших ролей в ее репертуаре. Тетя Маша восторженно ей аплодировала, сидя на премьере «Касатки», которая состоялась в первых числах декабря.

Пьеса имела огромный успех. Автора и актеров вызывали раз десять. В течение нескольких месяцев «Касатка» шла с аншлагами. Блестящие отзывы прессы сопровождали спектакль и в столице и в провинции. Материальные наши дела сразу поправились, это было очень кстати — через два месяца я должна была родить.

Успех «Касатки» и морально очень приободрил Толстого, так как незадолго перед этим в Петрограде, в театре Сабурова, с треском провалилась «Ракета». Ни Грановская в главной роли, ни режиссер Арбатов, ни роскошная постановка не спасли пьесы. Толстой на премьере не был.

В середине декабря 1916 года Толстой выехал в Минск, в комитет Западного фронта при Всероссийском земском союзе городов. Вызвал его председатель комитета В. В. Вырубов для работы на фронте. В чем должна была заключаться эта работа, он сообщает мне в одном из писем: «Сегодня выяснилось, моя должность будет

состоять в следующем: в Земгоре работает 19 дружин, то есть приблизительно 50 тысяч человек, и моя обязанность будет ревизовать дружины, улучшать условия жизни рабочих. Завтра еду знакомиться с первым учреждением под Минском».

В другом письме он пишет: «Сию в Минске, в огромнейшей квартире, где живут десяток уполномоченных...» — и дальше: «Мне очень странно привыкать к здешней обстановке: здесь все заняты по горло, говорят о делах, строят проекты, разъезжают, а по вечерам часов до трех пьют глинтвейн, который называется «горячее довольство», и ведут холостые разговоры. Люди все очень милые, и интереснее всех сам Вырубов».

Но, видимо, с работой в дружинах у Толстого ничего серьезного не получалось. В шестом письме из Минска есть такие строки: «Сейчас я нахожусь в неизвестности. Дело в том, что у нас организуется новое дело: передвижные по фронту мастерские для починки аэропланов. Меня хотят послать к Дуксу (Меллеру) для изучения деревянных частей аэропланов. На днях это должно решиться. Затем весной меня хотят послать в киргизские степи для изучения быта киргизов. Киргизы работают здесь на фронте, и ими очень интересуются. Я, разумеется, ни от чего не отказываюсь, пока же в неизвестности и безделье, если не считать нескольких посздовк».

Вот еще выдержка из письма: «Не писал тебе так долго потому, что слегка замотался. Был в дружинах и в одной дивизии. Сегодня катался на аэросанях и все это время кряхчу над фельетоном, никак не могу с ним сладить, очень трудно, и вообще мне трудно стало писать, точно голову подменили, или без тебя не могу и не умею. К спектаклю в Москву вряд ли приеду — у нас не так-то легко получить отпуск, и нужно приноровить поездку к делу. Все-таки я гну к тому, чтобы числа 17-го, 18-го попасть в Москву. «Ракета» провалится, я уверен. Ты только не огорчайся и не волнуйся. Бог с ней. Пусть только Ваня<sup>1</sup> не особенно ругает, чтобы не очень мне было зазорно на фронте».

---

<sup>1</sup> Иван Васильевич Жилкин, фельетонист и театальный критик газеты «Русское слово».

Премьера «Ракеты», о которой пишет здесь Толстой, состоялась в январе 1917 года в Москве, в Малом театре, с Жихаревой в главной роли. На премьере присутствовала я одна. Толстой был в Минске. Помню, сидя в ложе, маскируя меховой накидкой свой девятый месяц, я мучительно переживала и за себя и за автора этот на редкость сумбурный и фальшивый спектакль. Самое неприятное было в нем то, что на протяжении четырех актов герои (он и она) чувствовали свое превосходство над остальными действующими лицами в гораздо большей мере, чем это *чувствовал* зритель.

Нет, видно, самой природой предназначено было нашей «Ракете» не взлететь. Я так и телеграфировала в Минск: «Ракета не взлетела, не огорчайся, подробности письмом». Но письмо послать не пришлось. Толстой вернулся в Москву неожиданно и раньше времени. В Минск он больше не ездил — ревизия земгусарских дружин на этом для него и закончилась. А киргизы и деревянные части аэропланов так и остались неизученными.

Позднее Толстой с юмором вспоминал о пребывании своем в Минске в качестве ревизора, а в одном письме даже подписался: Твой Хлестаков.

14 февраля я родила сына Никиту и, еще лежа в больнице, узнала о свержении самодержавия.

Жизнь разворачивалась по новым спиралям и неслась лихорадочным темпом к целям, еще не ясным. У всех оказалась уйма новых обязанностей, деловой суеты, заседаний, митингов и банкетов.

Приказом № 539 от 29 марта за подписью комиссара города Москвы, доктора Кишкина, Толстой был назначен комиссаром по регистрации печати. Работать ему приходилось в непосредственной близости с поэтом Брюсовым. Помню, они разбирали какие-то архивы.

На горизонте стали появляться новые люди. Вернулся из Парижа Илья Эренбург, эмигрировавший при царском правительстве. Вернулись эсеры: Авксентьев, Чернов, Руднев, Цейтлин, Бунаков. Последние два имели родственные связи с московской чайной фирмой Высоцких, и мы часто встречали их. Открылось новое литературное кафе на Кузнецком мосту — «Трилистник». Здесь, на по-

мосте, между столиками, выступали московские поэты и писатели с чтением последних своих произведений, причем каждые три дня программа менялась. Выступали: Эренбург, Вера Инбер, Владислав Ходасевич, Цветаева, Амари (Цейтлин), Борис Зайцев, Андрей Соболев, Осоргин, Шмелев, мы с Толстым и многие другие.

Заново переорганизовывалось Книгоиздательство писателей. Толстой был выбран в состав правления.

Этой весной он заканчивал пьесу «Горький цвет», много читал по истории Русского государства, беседовал с профессором Каллашом на исторические темы. У изголовья тахты, на которой Толстой спал, лежала на столике книга профессора Новомбергского «Слово и дело» (точные записи, сделанные дьяками конца XVII века). Толстой читал эту книгу и делал пометки в записной книжке. Так готовился «День Петра» и «Наваждение».

Седьмого мая, после развода моего с первым мужем, была наша свадьба. Шаферами при обряде венчания были: профессор Каллаш, писатель И. А. Новиков, философ Рачинский и В. Мусин-Пушкин, приятель Толстого.

Через три недели после этого мы крестили трехмесячного сына Никиту. Крестным отцом был журналист И. В. Жилкин, а крестной матерью — бабушка, А. Р. Крандиевская.

Лето проводили в Иванькове, под Москвой. Толстой часто ездил в город и возвращался к вечеру на извозчике, полный впечатлений, новостей и слухов.

Бесформенно-восторженное настроение первых недель постепенно опадало. Вести с фронта были тревожные. Все больше накалялась атмосфера митингов. Видя это, кое-кто в интеллигентских кругах приуныл, кое-кто струсил, кое-кто уже подумывал, не пора ли загнать обратно в бутылку выпущенного из нее «злого духа свободы» и как это сделать?

Толстой вернулся из Большого театра и рассказал о приезде в Москву Керенского. Я давно знала этого человека, и уже тогда мне было ясно, что с этой колокольни не ждать благовеста. Керенский был товарищем моего первого мужа.

Я не могла забыть его привычки произносить в гостях, за ужином, надрывно-обличительные речи о сытых и голодных по такой приблизительно схеме:

— Господа (поднимая бокал)! Мы пьем и едим за этим роскошным столом в то время, когда там, на реке Лене, расстреливают голодных рабочих...— Или же:— Мы пьем и едим, когда тысячи протянутых рук молят о куске хлеба...

Его прерывал сенатор Зарудный, обаятельный остроумец.

— Я все-таки не могу понять, дорогой Саша,— говорил он,— почему ты негодуешь в конце ужина, а не в начале? Если ты взываешь к нашей совести, то — увы! — это немного поздно.— Он указывал на пустые блюда и бутылки.

Первоначальные позиции, с которых Толстой воспринимал события, были еще очень далеки от тех, к каким он пришел позднее. Вспоминаю характерный для того времени горячий спор Толстого с М. О. Гершензоном. Во время одной из своих обычных утренних прогулок по Арбатским переулкам Гершензон зашел к нам на минутку и, не снимая пальто, стал высказываться о текущих событиях так «еретически» и так решительно, что оба мы с Толстым растерялись. Гершензон говорил о необходимости свернуть фронт.

Толстой возражал горячо, резко и, проводив Гершензона, заговорил о национальной чести.

Под национальной честью подразумевалось, видимо, сохранение фронта и война (с немцами) до победного конца.

Сезон в театре «Эрмитаж» открылся осенью пьесой Толстого «Горький цвет», в постановке режиссера Ю. Э. Озаровского.

В главной роли дебютировала молодая и талантливая актриса Е. М. Шатрова, несколько лет перед этим выступавшая с большим успехом в провинции, в антерпризе Синельникова.

Пьеса имела успех, не такой шумный, как «Касатка», но все же успех. Играли прекрасно: Шатрова, Радин, Блюменталь-Тамарина, Нароков.

Впоследствии пьеса эта, переработанная Толстым и получившая новое название — «Изгнание блудного беса»,

шла в Александринке и в других театрах. Но в первоначальном своем виде, мне кажется, она была свежее, непосредственнее и лучше доходила до зрителя.

Наступили Октябрьские дни 1917 года.

Я была свидетельницей, наблюдавшей события со своей «комнатной», более чем скромной позиции.

После двух шальных пуль, царапнувших подоконник в столовой, окна нашей квартиры на Малой Молчановке были завешены коврами, забаррикадированы шкафами.

Детские кровати перенесли в ванную комнату, без окон. Тетю Машу и Юлию Ивановну устроили в коридоре, на сундуках. Маленького Никиту, болевшего тогда коклюшем, перевели с няней в первый этаж, в квартиру инженера Сахарова,— это казалось безопаснее.

Оба мы с Толстым несли дежурство на парадном подъезде, обязательное для всех жильцов. Здесь и день и ночь два кипящих самовара сменяли друг друга непрерывно, и кружки с горячим чаем ожидали забегавших с улицы людей с винтовками в руках. Были между ними и юнкера, и совсем юные гимназисты, и люди в штатском, напоминавшие по виду иногда рабочих, иногда переодетых интеллигентов. Продрогшие, возбужденные, они наспех глотали горячий чай и снова бежали на свои посты. Помню, на парадном нашем напоили горячим чаем белокурого парня в кожаной тужурке; выбежав после этого на улицу, он подстрелил двух юнкеров.

Пули подкарауливали за каждым углом. Я переживала мучительные минуты, когда Толстой вместе с группой разведчиков выходил на улицу. Он говорил:

— Мне это надо для впечатлений, пойми.

Я понимала и все же не находила себе места, ожидая его возвращения.

Однажды ночью дружинники внесли убитого человека, только что подобранного на углу Ржевского переулка, в двух шагах от нашего дома. Тело положили на кафельные плиты, у лестницы.

— Молоденький,— сказала сторожиха, разглядывая его, и всхлипнула.

Обшарив портфель, дружинники установили по бумагам, что убитый «не наш».

— Большевичок, ясно! — объявил один из них, пряча бумаги в портфель.— Тащите обратно на панель. Раз «не наш», значит, нечего и церемониться.

Но Толстой, бывший в эту ночь ответственным по дежурству, крикнул:

— Прекратите издевательство над мертвым! Кто бы он ни был, будет лежать здесь до утра, приказываю!

Дружинники пошептались и вышли. Подойдя ко мне, Толстой повторил:

— «Не наш»! Как это тебе нравится? — И, понизив голос, добавил: — Теперь и не ваш и не наш. Ничей.

— Как ничей? Божий! — вмешалась в разговор сторожиха и перекрестилась на темный угол под лестницей, где лежал убитый.— Царствие небесное!

На седьмой день, когда стрельба прекратилась, мы с Толстым пошли на Хлебный проведать родителей. Улицы были еще пусты. Лишь кое-где кучками стоял народ возле первых приказов, вывешенных новыми хозяевами города. Пожилой господин с бородкой, в пенсне, стоявший рядом, сказал:

— Кончилась Россия!

И тут же чей-то веселый голос из толпы ответил:

— Это для вас кончилась, папаша. Для нас — только начинается!

Толстой обернулся, отыскал глазами говорившего и долго разглядывал его. Вечером в тот день он записал в своем карманном блокноте: «Разговор у приказа. Старик в пенсне. Веселый парень. Для одних — кончилось, для других — начинается».

## 1918 ГОД

Здесь наступает трудный момент в моих записках.

В провалах памяти события прошлого громоздятся, наплывают друг на друга, сливаясь в хаотическом беспорядке.

Расставить их по местам во времени, в хронологической последовательности — трудное дело. До сих пор мне помогали в этом сохранившиеся письма, дневники, записки, да и сама жизнь — спокойная, размеренная, в пределах комнатных стен — легче укладывалась в точные даты и на страницы мемуаров.

Но теперь я приступаю к тому периоду времени в моей жизни с Толстым, довольно длительному, когда все вокруг и мы сами были в непрерывном и стремительном движении. Период этот не отражен ни в письмах, ни в дневниках: писем не было по той простой причине, что мы не разлучались, а дневников не было потому, что не хватало на них досуга в трудной, скитальческой жизни тех лет.

Но с памятью обстоит дело не так просто. Странная вещь — память. Почему избирает она и сохраняет в неприкосновенной четкости те или иные впечатления и события из нашей прошедшей жизни? Чем она руководствуется, избирая их? И есть ли какая-либо закономерность в этом отборе? Вероятно, есть, не знаю, но в дальнейшем мне придется в записках своих продвигаться от островка к островку.

Вот один из них.

Москва. 1918 год. Морозная лунная ночь. Мы с Толстым возвращаемся с литературного вечера у присяжного поверенного Кара-Мурзы. С нами — попутчики до Арбата, писатели Зайцев, Осоргин и Андрей Соболев. Идем посередине улицы, по коридору, протоптанному в сугробах пешеходами. Ни извозчиков, ни трамваев, ни освещения в городе нет; если бы не луна, трудно было бы пробираться во тьме по кривым переулкам, где ориентиром служат одни лишь костры на перекрестках, возле которых постовые проверяют у прохожих документы.

У одного из таких костров (где-то возле Лубянки) особенно многолюдно. Высокий человек в распахнутой шубе стоит у огня и, широко жестикулируя, декламирует стихи. Завидя нас, он кричит:

— Пролетарии, сюда! Пожалуйте греться!

Мы узнаем Маяковского.

— А, граф! — приветствует он Толстого величественным жестом хозяина. — Прошу к пролетарскому костру, ваше сиятельство! Будьте как дома.

Он продолжает декламировать. Тень на снегу от его могучей фигуры вся в движении и кажется фантастической. Фантастичны и личности из всегдашней его свиты, стоящие рядом: один в дохе, повязан по-бабьи чем-то пестрым поверх шапки, другой, приземистый, в цилиндре, сосредоточенно разглядывает костер в лорнетку.

Маяковский протягивает руку в сторону Толстого, минуту молчит, затем торжественно произносит:

Я слабость к титулам питаю,  
И этот граф мне по нутру,  
Но всех сиятельств уступаю  
Его сиятельству — костру!

Пауза.

— Вот это здорово,— говорит Толстой, слегка растерянный. Вокруг костра оживление, смех.

— Плохо твое дело, Алексей,— с мрачноватым юмором замечает Андрей Соболев,— идем-ка от греха!..

Но Толстой не уходит. Он смотрит не отрываясь на Маяковского, видимо любясь им. Он не до конца понимает убийственный для себя смысл экспромта.

Продолжая путь, мы спускаемся с Неглинной горы к Охотному ряду. Слева зубчатая древняя стена кажется мостом из семнадцатого века в двадцатый. Эту иллюзию усугубляет пустынная тишина города да старожилы-звезды над ним, много выдавшие на этом свете.

Мы долго идем молча, поскрипываем валенками, потом Толстой говорит:

— Талантливый парень этот Маяковский. Но нелепый какой-то. Громоздкий, как лошадь в комнате.

Весной 1918 года в Москве начался продовольственный кризис. Назревал он постепенно, возвещали о нем очереди возле магазинов, спекулянты и первые мешочники. Но все же обывателей, еще не искушенных голодом, он застал врасплох. Я помню день, когда прислуга, вернувшись с рынка, объявила, что провизии нет и обеда не будет.

— То есть как это не будет? Что за чепуха? — возмутился Толстой, которому доложили об этом.— Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники.

Но выяснилось, что двери «жратвенного храма», магазина Елисеева, закрыты наглухо, и висит на нем лаконичная надпись: «Продуктов нет». («И не будет», — приписал кто-то сбоку мелом.) Надпись эта, а в особенности приписка выглядели зловеще. Пищевой аврал, объявленный в тот день в нашем доме, выразился в блинчиках с вареньем и черном кофе. Он никак не разрешил общего недоумения — что же будет завтра?

В это время антрепренер Левидов вел переговоры с Толстым, предлагая концертное турне по Украине (Харьков, Киев, Одесса). На Украине было сытно, в Одессе соблазняло морское купанье и виноград. Толстой уговаривал меня ехать с ним и забрать детей — использовать поездку как летний отдых.

В июле мы выехали всей семьей (исключая Марьяны, оставшейся с матерью) на Курск, где проходила в то время пограничная линия. С нами ехала семья Цейтлиных, возвращавшаяся в Париж. Позднее в своей повести «Ибикус» Толстой описал это путешествие с фотографической точностью и так ярко, что мне прибавить к этому нечего.

#### ЛЕТО В КАМБЕ (ВЕСНА 1921 ГОДА)

«Союз городов», он же одновременно и «Земский союз», возглавлявшийся Василием Вырубовым в годы империалистической войны, перемещен нынче в Париж. Его теперешние функции мне непонятны. Ясно одно — учреждение это агонизирует на остатки больших денег. Около него кормится немало эмигрантов, и хозяйничает в нем некий Тихон Полнер. Остальное — тайна.

Пришел Балавинский и рассказал под строжайшим секретом следующее: чтобы вложить остатки капитала в недвижимость, приносящую доход, «Союз городов» купил имение в окрестностях Бордо. Доход — виноградники, фруктовый сад и птичья ферма. Дом стар, но пригоден для жилья. Очень красива вековая аллея каштанов, ведущая к нему. Вероятно, поэтому имение называется «Les magnoniers»<sup>1</sup>. Союз командирует трех человек из эмиграции управлять имением: Балавинского, Михаила Бакунина и Володю Ладыженского. Ближайший городок Камб, на берегу реки Гаронны. Место живописное, сухое, жизнь дешева, климат здоровый.

— Приезжайте с детьми на дачу в Камб. Можно снять для вас небольшой дом с садом, — говорит Балавинский. — Согласны?

Я согласилась...

---

<sup>1</sup> Каштаны (франц.).

...Приехал Толстой из Парижа. Он плохо выглядел. Устал, озабочен. Вечером он читал мне только что написанный конец романа «Сестры», последнюю главу. Как всегда, у него неладно с концом. Отчего это? Не сам ли он утверждал в разговоре с Буниным: «Кончая большую вещь, необходимо как бы подняться над нею, чтобы снова увидеть всю с начала до конца (как с горы — пройденный путь)», — тогда конец будет верный, пропорция соблюдена и вся вещь крепко станет на ноги. У него же конец случаен. Не оттого ли это, что он устал, переработал? Он торопится под конец — вот что ужасно.

— Отдохни! Отложи работу.

Он вдруг вспыхнул.

— Пиши сама, — крикнул он, — и ну его к лешему!

Он схватил рукопись, в бешенстве разорвал последние листы и бросил за окно.

— Подышайте с голоду!

Хлопнув дверью, он вышел.

Мы с детьми долго ползали по саду, подбирая в темноте белые клочки. Мы склеили все и положили на стол.

Толстой вернулся через час. Он молча сел к столу и работал до света. Я сварила ему крепкого кофе. Он кончил роман коротко и сильно.

Как странно: человек с ведерком, клеящий афиши, — один этот образ восстановил равновесие, и все вокруг обрело свое место.

Мне кажется, сам Толстой доволен теперь концом.

Мы помирились. Как могло быть иначе? Он заснул на рассвете. Я глядела на лицо, серое от усталости. Трудно жить. Кому мы нужны, мой бедный писатель...

...Вечером мы с Никитой провожали отца на вокзал. Над черной дырой туннеля печально мигал зеленый фонарик. Летучие мыши низко проносились над нами, встревоженные белым пятном моего платья.

— Пойми, — говорил Толстой, сжимая мне руку. — Европа — это кладбище. Я все время чувствую запах тления. До галлюцинаций. Здесь не только работать, здесь дышать нечем. Жить в окружении мертвецов! Ненавижу людей. Надо бежать отсюда.

— Куда бежать?

Он молчит. Мы словно боимся высказать все до конца.

— Из Парижа я напишу тебе, — говорит он.

Никита, которому давно пора спать, повис на моей руке, мечтательно глядя на огни семафоров.

— Мама, что будет, если машинист поедет на красивый?

Я отвечаю машинально:

— Плохо будет.

— Будет катастроф? — допытывается Никита.

— Не катастроф, а катастрофа, — обрывает отец с раздражением, — он черт знает как говорит по-русски. Почему ты не поправляешь? Любопытно все же знать, кого мы растим? Гражданина какой страны? Никита — француз? Нет! Никита — человек без национальности, без языка. Стерильный человек. Это страшно.

— Нет. Никита русский, — говорю я, глядя голову сына, — за это мы с тобой отвечаем.

— А что будут знать о своей стране вот эти, подрастающие? Блины рюсс, тройка рюсс... Ассоциация кабака в Пасси. Не больше. Даже меланхолии эмигрантской не сохранит это поколение. Стерильные люди.

Он махнул рукой.

Мне было больно его слушать. Хотелось возражать. Хотелось говорить до конца. Но человечек с фонарем, пробегаая мимо, крикнул:

— En voiture! <sup>1</sup>

Мы наспех простились.

Что за дурацкая привычка говорить о главном в передней, у дверей вагона!

Я только и успела сказать ему:

— Все будет хорошо! Верь мне.

— Жди письма! — крикнул он из окна вагона, и поезд нырнул в туннель...

...Сегодня за утренним кофе мне подали письмо из Парижа. Толстой пишет: «Жизнь сдвинулась с мертвой точки. В знакомых салонах по сему случаю переполох. Это весело. Я сжигаю все позади себя, — надо родиться снова. Моя работа требует немедленных решений. Ты понимаешь категорический смысл моих слов? Возвращайся.

---

<sup>1</sup> По вагонам! (франц.)

Ликвидируй квартиру. Едем в Берлин и, если хочешь, то дальше».

Я стою словно оглушенная. «Если хочешь, то дальше»... Дальше. Разве могут быть колебания? Нет. Жизнь сдвинулась с мертвой точки, и остановить ее нельзя. Мы едем дальше!

Почти через двадцать лет после описанного выше А. Н. Толстой в письме ко мне так объяснял первоначальную неудачу с концом романа «Сестры»:

«Хождение по мукам» я кончал в Камбе, где работал над последними главами около месяца, — писал он, — конец мне не удавался, и я его действительно однажды разорвал и выкинул в окно, и то, что мне не удавался конец, было закономерным и глубоким ощущением художника, так как уже тогда я начал понимать, что этот роман есть только начало эпопеи, которая вся разворачивается в будущем. Вот откуда происходила неудача с концом, а не оттого, что я не мог «взойти на гору, чтобы оглянуть пройденное». На какую гору мог бы взойти художник, когда он начал понимать, что он в тумане, в потемках, что все стало неясным, что понимание должно раскрыться где-то в будущем».

И дальше:

«Роман этот никогда, даже при последующих доработках, не был закончен, так как он только первая часть трилогии».

Таков ретроспективный авторский самоанализ — конечно, самый верный и точный. Но созреть он мог только через много лет. Время в данном случае и оказалось той горой, с которой все пройденное оглянуто и оценено и потому понятно. Записки же мои относятся к 1921 году. Они целиком живут в том времени, когда оба мы «блуждали в потемках», чувствуя, что «понимание должно раскрыться где-то в будущем». В то время конец романа «Сестры» был для нас подлинно концом книги, о чем свидетельствует письмо Толстого из Парижа: «Роман сдал. В редакции одобряют конец. Мне он теперь тоже нравится, — спасибо за бурную ночь!» (намек на инцидент в Камбе).

Толстой ошибается, утверждая, что работал над концом романа в Камбе около месяца. В Камбе он прого-

стил дней десять, после чего уехал в Париж, с намерением сдать новую редакцию конца в журнал «Современные записки», а затем вернуться в Камб для отдыха.

Однако недели через две он экстренно вызвал меня с детьми в Париж, и на этом кончилось это лето в Камбе.

#### О КРАСНОМ СЛОВЦЕ (ДЕТСКОЕ СЕЛО)

Утренняя прогулка вокруг озера, по Екатерининскому парку. Мы остановились на мраморном мостике. Облокотясь о балюстраду, Толстой вычищает любимую трубку; долго ковыряет в ней, выскребывает черную кашицу специальной лопаточкой, продувает трубку со свистом, затем постукивает ею по каблуку. Уютное мужское занятие, во время которого так хорошо думается. Понимая это, я помалкиваю рядом.

Пригревает апрельское солнце; кое-где деревья парка уже одеты в зеленую дымку. Озеро так светло, так неподвижно, что турецкая баня, опрокинутая в нем со своим минаретом, кажется не отражением, а двойником той, что стоит на берегу, и мы молча любимся ею.

Наконец Толстой наладил трубку, закурил и, указав на Чесменскую колонну, стоящую перед нами в воде, сказал:

— Не помню, от кого я слышал про подземные ходы, идущие от этой колонны по таинственным направлениям. Любопытно бы прогуляться по ним когда-нибудь.

И он стал рассказывать о том, как, спустив воду, чистили при Екатерине Второй дно озера и мостили его булыжником. Не тогда ли и ходы проложили?

— Представляешь,— продолжал он,— на какие сюрпризики можно натолкнуться в этих подземельях? Какой придворный Рокамболь в них сокрыт? Следы скольких преступлений?

Он помолчал, улыбаясь своим мыслям.

— Кончится дело тем, что напишу когда-нибудь роман с привидениями, с подземельем, с зарытымикладами, со всякой чертовщиной. С детских лет не утолена эта мечта.

И когда мы, продолжая прогулку, стали медленно спускаться по мраморным ступеням, добавил:

— Это, вероятно, оттого, что я мальчишкой Вальтер Скотта начитался. И сейчас, подсунь какой-нибудь его роман — не оторвусь. Упоительный писатель!

На обратном пути он был неразговорчив и только у самого дома, когда уже поднимались на каменное крыльцо, сказал:

— Насчет привидений — это, конечно, ерунда. Но, знаешь, без фантастики скучно все же художнику.

В передней, снимая пальто, он прибавил не то шутя, не то всерьез:

— Художник по природе — враль, вот в чем дело!

— Ну а как же твой однофамилец? — спросила я. — Вот уж кто не враль.

— Ошибаешься. Старик врать умел почище нашего.

— Возьми «Анну Каренину». Там же все правда.

— А мужичонка в конце и в начале? Тот, что над рельсами по-французски бормочет? Это разве не выдуманно? И это гениально. И это дало крылья роману.

— Ну, если ты про такое вранье...

— Я про всякое, — прикончил он разговор и, захватив по дороге кофейник, поднялся к себе наверх в кабинет. Он работал в то время над романом «Черное золото».

Вскоре после этого, за утренним кофе в Детском Селе, восьмилетний сын наш был подвергнут семейной чистке за «склонность преувеличивать, приукрашивать, «заливать», по выражению старших братьев. Неожиданно для всех за него вступился отец.

— Это не беда, что заливает, — сказал он, — я в его возрасте тоже грешил этим. Пусть только не врет ради выгоды. А «заливание» — это первоначальная склонность к сочинительству. Грешок, свойственный фантазерам.

— Ради красного словца не пожалеет матери и отца, — продолжал кто-то из семейных обвинителей.

— Что ж, красное словцо тоже неплохая вещь, — засмеялся Толстой и, словно поддразнивая окружающих, добавил: — Красное словцо — это и есть искусство, если вам угодно знать. Belle lettre в переводе на французский язык.

Все же, чтобы сын наш не слишком взбодрился от этих рассуждений, он закончил строго:

— А за вранье для выгоды — драть.

## О «ДРЕВНЕМ ПУТИ»

Поздно вечером на Ждановке<sup>1</sup> он пришел ко мне в комнату мрачный и сразу стал жаловаться:

— Ты вот лежишь тут преспокойно с французским романчиком, а я...

— Что такое?

— Я несчастный человек. Нужен рассказ строк на триста. Это зарез, пойми. Короткие рассказы писать не умею. К черту. Пусть воробей пишет. А тут еще грипп проклятуший привязался.

Он чихал, чертыхался, нахлобучил лыжную шапку на лоб. Потом сказал сварливо:

— Вот пошевели-ка мозгами, дай тему.

Он был опустошен предыдущей большой работой (не помню сейчас какой). Усталый, полубольной, весь какой-то разобиженный. Хотелось помочь ему, но как? Рассказ нужен к сроку. Аванс под него, разумеется, уже взят и прожит.

— Давай подумаем,— сказала я.

Мне пришло в голову натолкнуть его на один сюжет. Впрочем, это был даже не сюжет и даже не тема. Просто захотелось снова заразить его тем смутным поэтическим волнением, которое охватило когда-то нас обоих по пути в Марсель, через Дарданеллы, мимо греческого архипелага.

— Ты помнишь остров Имброс, мимо которого мыплыли? —спросила я.— Грозу над ним?

— Ну?

Вероятно, я говорила очень путано, сама плохо понимая, что к чему. Я напредила ему днища опрокинутых пароходов у берегов Трои, оливы на плоскогорьях Имброса и красные поросли маков, мимо которых мыплыли так близко...

— Ты помнишь мальчика с дудкой? Он шел за стадом овец, как Дафнис. Помнишь зуавов из Салоник? Закат над Олимпом?

Вытряхивая все это и многое другое из закоулков памяти, я заметила, что он насторожился, помаргивая глазами, и вдруг провел рукой по лицу сверху вниз, словно

<sup>1</sup> Ждановская набережная в Ленинграде.

снятая паутину. Знакомый жест, собирающий внимание. Я продолжала:

— Современному человеку, глядящему в бинокль с парохода на древние берега, в пустыню времени...

— Погоди,— остановил он меня,— довольно.

Медленно отвинтил паркер, полез за книжечкой в боковой карман и что-то отметил в ней. Потом протерся и ушел к себе.

На другой день он, как всегда, с утра сел за работу.

Рассказ «Древний путь» писался медленно и трудно. В процессе работы был забыт первоначальный его размер — строк на триста.

Откуда взялся Поль Торен, умирающий французский офицер, герой рассказа? Чтобы понять это, надо оглянуться назад, развернуть и проследить обратный ход ассоциаций: гражданская война, Одесса, французская интервенция девятнадцатого года.

А носатые низкорослые греки, плывущие под парусами мимо пастухов — пелазгов, откуда они?

Помню, на одной из греческих ваз в залах Лувра Толстой указал мне однажды цепочку кораблей с высокими гребнями. Черные силуэты пловцов под парусами были четки и как-то трагически выразительны.

— Похоже на то, что и у этих гиперборейцев не все благополучно с бытием,— заметил Толстой,— смотри, с каким отчаянием поднимают они руки к небу! — И, помолчав, добавил полувопросительно: — Завоеватели, купцы или просто искатели золотого руна?

Он долго рассматривал вазу, обходя ее со всех сторон, любясь ею и — кто знает? — быть может, уже *откладывая* впрок, в кладовые подсознания, драгоценный осадок своих впечатлений. Некоторые страницы «Древнего пути» дают основание предполагать, что так это и было.

В высокой мере Толстой обладал тем, что можно назвать исторической мечтательностью. Не отсюда ли склонность его к исторической теме, умение заражаться далеким прошлым, чувствовать время «позади себя» реалистически, плотски, до зрительных галлюцинаций?

Но самое главное в «Древнем пути», центр рассказа, его мозг — это предсмертные раздумья Поля Торена, участника двух войн, вначале империалистической, а затем гражданской, на юге России, в карательной экспе-

диции интервентов. Это — послевоенные раздумья умного европейца-гуманиста, под ногами которого шатается последний камень устоев. Мне думается, что исток этих раздумий берет свое начало там же, где зародились и первые сомнения самого Толстого, круто повернувшие в дальнейшем личную его жизнь и творческую судьбу.

Приходят на ум невольные сопоставления: ведь те же впечатления, что дали толчок для создания «Древнего пути», были использованы и мною, по мере сил, в главе воспоминаний. Но что получилось? У меня закрепленные в повествовании события и образы сразу *омертвели*, как бабочки, посаженные на булавки. Творческое зачатие не одухотворило моей работы, и поэтому глава воспоминаний так и осталась главой воспоминаний, — ничем больше.

А «Древний путь» Толстого ожил, живет и будет жить еще долго жизнью, преображенной в искусстве.

#### О СУДЬБЕ «СЕСТЕР»

Однажды летом в немецком курорте Миздрой, когда мы лежали на пляже, он зарыл в песок мою руку.

— Похоронил, — пошутила я.

Но он шутки не принял, взглянул странно серьезно, потом быстро разрыл песок, откопал руку.

Мы долго молчали после этого.

Задумчиво пересыпая песок из ладони в ладонь, он следил за струйкой, бегущей между пальцами. Я угадывала его невеселые мысли и, чтобы отвлечь их, спросила, кого из героинь своих он любит больше — Дашу или Катю.

— Вот уж не знаю, — ответил он, — Катя — синица, Даша — козерог, как тебе известно.

В лексиконе нашем «козерог» и «синица» были обозначением двух различных женских характеров. Непростота, самолюбивый зажим чувств, всевозможные сложности — это называлось «козерог». Женственность, ясная и милосердная, — это называлось «синица».

Мы поняли друг друга и посмеялись. Потом он сказал, что серьезно озабочен дальнейшей судьбою сестер. Одну надо провести благополучно через всю трилогию (Дашу), другая должна окончить трагически (Катя). Но ему по-человечески жаль губить Катю.

— А ты не губи.  
— Не знаю. Чего-нибудь придумаю,— ответил он как бы нехотя и тут же помянул про Махно: Катя попадет в плен к нему.  
— Давно я нацеливаюсь на этого живоглота,— сказал он весело.  
— Ну, а Катя? Что же дальше с ней?  
Но он сразу замкнулся:  
— Ничего. Точка.  
Я поняла, что дальше расспрашивать нельзя.  
И только через шесть лет после этого разговора Толстой приступил к работе над «Восемнадцатым годом».

#### НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ РОМАН

Летом в 1934 году Толстой с увлечением читал Геродота. Вероятно, это и навело его тогда на мысль о новом историческом романе — «Падение Рима». Осенью в Тессели у Горького он поделился своими планами с Алексеем Максимовичем и встретил горячую поддержку.

— Роман о падении Рима — это большое дело,— сказал Горький,— это должен быть роман в европейском масштабе, и, пожалуй, вы один из современных писателей в силах его поднять. Одобряю и благословляю.

У меня долго сохранялся продиктованный Горьким список книг и материалов на русском и иностранных языках, необходимых Толстому для работы над новым романом. Предполагалась поездка в Рим на год.

Однако ряд изменений, последовавших в личной и творческой жизни, увел его в сторону от намеченного плана.

1954